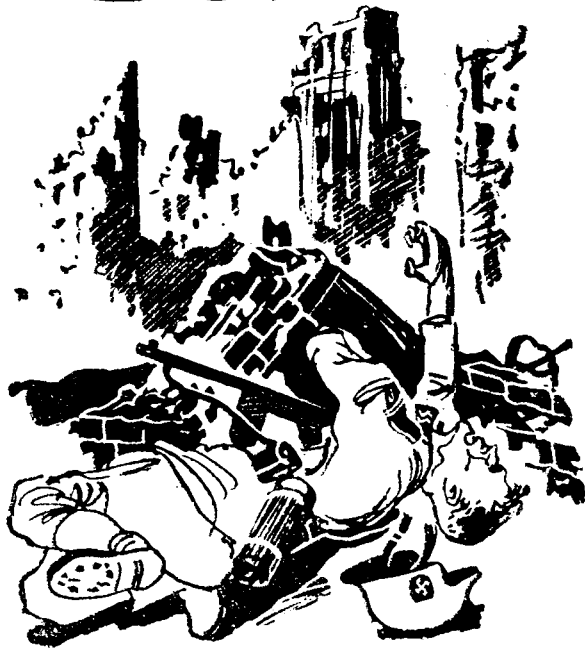


ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

В. ГРОССМАН

Сталинградская
БЫЛЬ

P33757



Издательство «Прада»
1945



ЛИНГРАДСКАЯ БЫЛЬ

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые, мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые, круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые глаза, не поймешь, светлые они или темные, видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, под ежающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме наискосок, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «Не слышу»:

Анатолию Чехову идет двадцатый год. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожающий книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его пил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми, а года за два до войны бросил их на произвол судьбы и

ушел. Тогда Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями. Поступив на фабрику учеником жестянщика, вскоре сделался, несмотря на малые свои годы, электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов. «Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому,— говорит он.— Ну я хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, а при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет». Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги, он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через 9 линз оптического прицела, он понял внутренний, теоретический принцип всех приспособлений — и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподымающегося при прицеливании с горизонтальными нитями... И объемное, широкое, четырехкратно приближенное изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.

Лейтенант ошибся. При стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором — учить курсантов и снайперской, и обычной стрельбе, и пользованию автоматом, и

различными гранатами. Так уж повелось, что и в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и совершенно овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «не желал бить по живому», захотелось пойти на передовую. «Я хотел стать таким человеком, который сам уничтожает врага», — сказал мне Анатолий Чехов.

На марше он тренировал себя в определении расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на-глаз с точностью до 2—3 метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию 9 двояковыпуклых и вогнутых линз. Самый ложный пейзаж научился он воспринимать как совокупность ориентиров — березки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник, они помогали быстро и точно повернуть дистанционный маховичок.

С первых же дней пребывания на фронте он перестал воспринимать бой как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник. «Было ли страшно в первые дни? Нет! У меня такое чувство было, словно это и не война».

На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот превращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость — это забвение, приходящее в бою. Другие чистосердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в руки, заставляя усилием воли, подняв голову, выполнять долг, идти навстречу смерти.

Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверил себя в том, что меня никогда не убьют».

Капитан Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убежден в своей смерти, и ему все равно, случится с ним смерть сегодня или завтра. Многие считают, что источник храбрости — это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под вечным огнем. У большинства же в подоснове мужества и презрения к смерти лежат чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесенные оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы, некоторым кажется, что на них в бою смотрят их друзья, родные, невесты. Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из-под огня, смеясь, сказал: «Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить».

Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр по-своему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, переплетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.

Но если каждый отважный отважен по-своему, то себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху-мать, жену, малых ребят.

У Чехова увидел я еще одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «круглую», прочную: ему органически, от природы было чуждо чувство страха смерти, — так же, как орлу чужд страх перед высотой.

Он получил свою снайперскую винтовку перед вече-

ром. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, зассть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными, спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы двухспальных супружеских кроватей. Его пытливый и совершенный глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблескивавшие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиговых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно легкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные тубы — мышцы и кости города.

Чехов сделал выбор — он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц, в прямоугольники сгоревших дверей видны были пустые коробки, этажи различались лишь по разной окраске стен — квартира второго этажа была розовой, третьего — темносиней, четвертого — фиштакшковой, с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий обзор — прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая, широкая улица, дальше, в метрах 600—700, начиналась площадь. Все это было у немцев! Чехов устроился на лестничной площадке остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него — он становился совершенно невидимым в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Ви-

товку он положил на чугунный узор перил. Он поглядел вниз. Привычно определил ориентиры, их было мало.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темносиним. словно серые тихие покойники, стояли высокие сгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная: толстое стальное зеркало, равнодушно отражающее жестокою картину битвы. Луна была медово желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой, белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой, белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающую, как лед, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается — так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной степи эти тысячи дезушек, которые ожидали на дороге попутных машин, этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска, этих стариков, кутающихся в бабьи платки, городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинельки.

Тень мелькнула по карнизу. Беспумно прошла большая сибирская кошка с пушистым хвостом. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья, послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки, и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам. Чехов приподнялся, посмотрел — в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры, немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят», — подумал с тоской Чехов, и сразу же,

едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз.

В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку, чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши, сидел на кирпичиках и слушал, как в темном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцевальных площадках, о славных девчатах.

И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой видение мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, узнал тяжести жизни. «Отец часто шумел,— мне и читать и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел»,— печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его. Чехову казалось, что кипяток, который он пил, обжигает ему нутро.

Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил: «Ну, что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?». Чехов сидел, задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон: «Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить»:

Утром он встал до рассвета, не попив, не поев, а

лишь налил в баклажку воды, положил в карман пару сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, вокруг все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная, серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами — носят офицерам мыться. Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл хверху крест нитей, он отнес прицел от носа солдата на 4 сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова дернулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал набок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец, в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром. Но он не прошел. «Три», — сказал Чехов и стал спокоен.

В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, — туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение. Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку. Чехов знал их меню, утреннее и дневное — хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно 30—40 минут и после кричали хором: «Русс, обедать!» Это приглашение к примирению приводило Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически-разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорб-

ляло чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден.

Снайперу Чехову хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки, жалевший «бить по живому», стал страшным человеком, истребителем оккупантов. Разве не в этом железная, святая логика отечественной войны?

К концу первого дня Чехов увидел офицера, сразу было видно, что он важный чин. Офицер шел уверенно, и из всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним на вытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей. Офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова. Тот заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, легче, чем в стоящего — попадание получалось точно в голову. Он сделал и другое открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дула винтовки до края стены сантиметров на 15—20. На белом фоне выстрел не был виден.

Снайпер Чехов желал теперь лишь одного — пусть немцы не ходят по Сталинграду во весь рост. И он добился своего. К концу первого дня немцы не ходили, а бегали. К концу второго дня они стали ползать. «Утренний солдат» не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной — они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина. Чехов

спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором: «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали «рус, ужинать».

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений — немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отказались от воды, но хотели по этим траншеям подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле», — подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразуру. Вчера ее не было. Чехов понял: «немецкий снайпер».

Послышался крик, топот сапог — автоматчики унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову. Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробрались до асфальта, перебежали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить их в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно в траншею, пополз медленно, словно неохотно. Он хоронился. «Вот я и вогнал тебя в землю», — сказал себе Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Надо было менять позицию, немцы перестали ходить и стрелять. Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на умерщвленный немцами Сталинград, юноша, жалевший «бить по живому» из рогатки, ставший по святой логике отечественной войны страшным человеком, мстителем:

г. Сталинград.
